



Ю. Н. ТЫНЯНОВ

Подпоручик Кижe

1

Император Павел дремал у открытого окна. В послеобеденный час, когда пища медленно борется с телом, были запрещены какие-либо беспокойства. Он дремал, сидя на высоком кресле, заставленный сзади и с боков стеклянною ширмою. Павлу Петровичу снился обычный послеобеденный сон.

Он сидел в Гатчине, в своем стриженном садике, и округлый купидон в углу смотрел на него, как он обедает с семьей. Потом издали пошел скрип. Он шел по ухабам, однообразно и подпрыгивая. Павел Петрович увидел вдали треуголку, конский скок, оглобли одноколки, пыль. Он спрятался под стол, так как треуголка была — фельдъегерь. За ним скакали из Петербурга.

— *Nous sommes perdus...** — закричал он хрипло жене из-под стола, чтобы она тоже спряталась.

Под столом не хватало воздуха, и скрип уже был там, одноколка оглоблями лезла на него.

Фельдъегерь заглянул под стол, нашел там Павла Петровича и сказал ему:

— Ваше величество. Ее величество матушка ваша скончалась¹.

Но как только Павел Петрович стал вылезать из-под стола, фельдъегерь щелкнул его по лбу и крикнул:

— Караул!

Павел Петрович отмахнулся и поймал муху.

Так он сидел, выкатив серые глаза в окно Павловского дворца, задыхаясь от пищи и тоски, с жужжащей мухой в руке, и прислушивался.

Кто-то кричал под окном «караул».

* Мы погибли (*фр.*).

2

В канцелярии Преображенского полка военный писарь был сослан в Сибирь, по наказанию.

Новый писарь, молодой еще мальчик, сидел за столом и писал. Его рука дрожала, потому что он запоздал.

Нужно было кончить перепиской приказ по полку ровно к шести часам, для того чтобы дежурный адъютант отвез его во дворец, и там адъютант его величества, присоединив приказ к другим таким же, представил императору в девять. Опоздание было преступлением. Полковой писарь встал раньше времени, но испортил приказ и теперь делал другой список. В первом списке сделал он две ошибки: поручика Синюхаева написал умершим, так как Синюхаев шел сразу же после умершего майора Соколова, и допустил нелепое написание: вместо «Подпоручики же Стивен, Рыбин и Азанчеев назначаются» написал: «Подпоручик Кижее, Стивен, Рыбин и Азанчеев назначаются». Когда он писал слово «Подпоручики», вошел офицер, и он вытянулся перед ним, остановясь на *К*, а потом, сев снова за приказ, напутал и написал: «Подпоручик *Кижее*».

Он знал, что, если к шести часам приказ не успеет, адъютант крикнет: «взять», и его возьмут. Поэтому рука его не шла, он писал все медленнее и медленнее и вдруг брызнул большую, красивую, как фонтан, кляксу на приказ.

Оставалось всего десять минут.

Откинувшись назад, писарь посмотрел на часы, как на живого человека, потом пальцами, как бы отделенными от тела и ходившими по своей воле, он стал рыться в бумагах за чистым листом, хотя здесь чистых листов вовсе не было, а они лежали в шкапу, в большом аккурате сложенные в стопку.

Но так, уже в отчаянии и только для последнего приличия перед самим собою роясь, он вторично остолбенел.

Другая, не менее важная бумага была написана тоже неправильно.

Согласно императорского приложения за № 940 о неупотреблении слов в донесениях, следовало не употреблять слова «обозреть», но *осмотреть*, не употреблять слова «выполнить», но *исполнить*, не писать «стража», но *караул*, и ни в коем случае не писать «отряд», но *деташемент*.

Для гражданских установлений было еще прибавлено, чтобы не писать «степень», но *класс*, и не «общество», но *собрание*, а вместо «гражданин» употреблять: *купец* или *мещанин*.

Но это уже было написано мелким почерком, внизу распоряжения № 940, висящего тут же на стене, перед глазами писаря, и этого он не читал, но о словах «обозреть» и прочая он выучил в первый же день и хорошо помнил.

В бумаге же, приготовленной для подписания командиру полка и направляемой барону Аракчееву, было написано:

Обозрев, по поручению вашего превосходительства, *отряды стражи*, собственно для несения пригородной при Санкт-Петербурге и выездной служб назначенные, донести имею честь, что все сие *выполнено...*

И это еще не все.

Первая строка им же самим давеча переписанного донесения изображена была:

Ваше превосходительство Милостивый государь.

Для малого ребенка уже было небезызвестно, что обращение, в одну строку написанное, означало приказание, а в донесениях лица подчиненного, и в особенности такому лицу, как барон Аракчеев, можно было писать только в двух строках:

Ваше Превосходительство

Милостивый государь,

что означало подчинение и вежливость.

И если за *обозрев* и прочая могло быть ему поставлено в вину, что он не заметил и вовремя не обратил внимание, то с *Милостивым государем* напутал при переписке именно он сам.

И, уж более не сознавая, что делает, писарь сел исправить эту бумагу. Переписывая ее, он мгновенно забыл о приказе, хотя тот был много спешнее.

Когда же от адъютанта прибыл за приказом вестовой, писарь посмотрел на часы и на вестового и вдруг протянул ему лист с умершим поручиком Синюхаевым.

Потом сел и, все еще дрожа, писал: *превосходительства, деташементы, караула.*

3

Ровно в девять часов прозвонил во дворце колокольчик, император дернул за шнурок. Адъютант его величества ровно в девять часов вошел с докладом к Павлу Петровичу. Павел Петрович сидел во вчерашнем положении, у окна, заставленный стеклянною ширмой.

Между тем он не спал, не дремал, и выражение его лица было также другое.

Адъютант знал, как и все во дворце, что император гневен. Но он равным образом знал, что гнев ищет причин, и чем более их находит, тем более воспламеняется. Итак, доклад ни в коем случае не мог быть пропущен.

Он вытянулся перед стеклянной ширмой и императорской спиной и отрапортовал.

Павел Петрович не повернулся к адъютанту. Он тяжело и редко дышал.

Весь вчерашний день не могли доискаться, кто кричал под его окном «караул», и ночью он два раза просыпался в тоске.

«Караул» был крик нелепый, и вначале у Павла Петровича был гнев небольшой, как у всякого, кто видит дурной сон и которому помешали досмотреть его до конца. Потому что благополучный конец сна все же означает благополучие. Потом было любопытство: кто и зачем кричал «караул» у самого окна. Но когда во всем дворце, метавшемся в большом страхе, не могли сыскать того человека, гнев стал большой. Дело оборачивалось так: в самом дворце, в послеобеденное время, человек мог причинить беспокойство и остаться неразысканным. Притом же никто не мог знать, с какою целью было крикнуто: «караул». Может быть, это было предостережение раскаявшегося злоумыслителя.

Или, может быть, там, в кустах, уже трижды обысканных, сунули человеку глухой кляп в глотку и удушили его. Он точно провалился сквозь землю.

Надлежало... Но что надлежало, если тот человек не разыскан.

Надлежало увеличить караулы. И не только здесь.

Павел Петрович, не оборачиваясь, смотрел на четырехугольные зеленые кусты, такие же почти, как в Трианоне². Они были стриженные. И, однако же, неизвестно, кто в них был.

И, не глядя на адъютанта, он закинул назад правую руку. Адъютант знал, что это означает: во времена большого гнева император не оборачивается. Он ловко всунул в руку приказ по гвардии Преображенскому полку, и Павел Петрович стал внимательно читать. Потом рука опять откинулась назад, а адъютант, изловчившись, без шума поднял перо с рабочего столика, обмакнул в чернильницу, стряхнул и легко положил на руку, замарав себя чернилами. Все у него заняло мгновение. Вскоре подписанный лист полетел в адъютанта. Так адъютант стал подавать листы, и подписанные или просто читанные листы летели один за другим в адъютанта. Он стал уже привыкать к этому делу и надеялся, что так сойдет, когда император соскочил с возвышенного кресла.

Маленькими шагами он подбежал к адъютанту. Лицо его было красно, и глаза темны.

Он приблизился вплотную и понюхал адъютанта. Так делал император, когда бывал подозрителен. Потом он двумя пальцами крепко ухватил адъютанта за рукав и ущипнул.

Адъютант стоял прямо и держал в руке листы.

— Службы не знаешь, сударь, — сипло сказал Павел, — сзади заходишь.

Он щипнул его еще разок.

— Потемкинский дух вышибу, ступай³.

И адъютант задом удалился в дверь.

Как только дверь неслышно затворилась, Павел Петрович быстро размотал шейный платок и стал тихонько раздирать на груди рубашку, рот его перекосялся, и губы задрожали.

Начинался великий гнев.

4

Приказ по гвардии Преображенскому полку, подписанный императором, был им сердито исправлен. Слова: *Подпоручик Киже, Стивен, Рыбин и Азанчеев назначаются* император исправил: после первого *к* вставил преогромный *ер*, несколько следующих букв похерил и сверху надписал: *Подпоручик Киже в караул*. Остальное не встретило возражений. Приказ был передан.

Когда командир его получил, он долго вспоминал, кто таков подпоручик со странной фамилией Киже. Он тотчас взял список всех офицеров Преображенского полка, но офицер с такой фамилией не значился. Не было его даже и в рядовых списках. Непонятно, что это было такое. Во всем мире понимал это верно один писарь, но его никто не спросил, а он никому не сказал. Однако же приказ императора должен был быть исполнен. И все же он не мог быть исполнен, потому что нигде в полку не было подпоручика Киже.

Командир подумал, не обратиться ли к барону Аракчееву. Но тотчас махнул рукой. Барон Аракчеев проживал в Гатчине, да и исход был сомнителен.

А как всегда в беде было принято бросаться к родне, то командир быстро счелся родней с адъютантом его величества Саблуковым и поскакал в Павловское.

В Павловском было большое смятение, и адъютант сначала вовсе не хотел принять командира.

Потом он брезгливо выслушал его и уже хотел сказать ему черта, и без того дел довольно, как вдруг насупился, метнул взгляд на командира, и взгляд этот внезапно изменился: он стал азартным.

Адъютант медленно сказал:

— Императору не доносить. Считать подпоручика Кижее в живых. Назначить в караул.

Не глядя на обмякшего командира, он бросил его на произвол судеб, подтянулся и зашагал прочь.

5

Поручик Синюхаев был захудалый поручик. Отец его был лекарь при бароне Аракчееве, и барон, в награждение за пилюли, восстановившие его силы, тишком сунул лекарского сына в полк. Прямолинейный и неумный вид сына понравился барону. В полку он ни с кем не был на короткой ноге, но и не бегал от товарищей. Он был неразговорчив, любил табак, не махался с женщинами⁴ и, что было не вовсе бравым офицерским делом, с удовольствием играл на «гобое любви»⁵.

Амуниция его была всегда начищена.

Когда читался приказ по полку, Синюхаев стоял и, как обычно, вытянувшись в струнку, ни о чем не думал.

Внезапно он услышал свое имя и дрогнул ушами, как то случается с задумавшимися лошадьми от неожиданного кнута.

«Поручика Синюхаева, как умершего горячкою, считать по службе выбывшим».

Тут случилось, что командир, читавший приказ, невольно посмотрел на то место, где всегда стоял Синюхаев, и рука его с бумажным листом опустилась.

Синюхаев стоял, как всегда, на своем месте. Однако вскоре командир снова стал читать приказ, — правда, уже не столь отчетливо, — прочел о Стивене, Азанчееве, Кижее и дочитал до конца. Начался развод, и Синюхаеву должно было вместе со всеми двигаться в фигурных упражнениях. Но вместо того он остался стоять.

Он привык внимать словам приказов как особым словам, не похожим на человеческую речь. Они имели не смысл, не значение, а собственную жизнь и власть. Дело было не в том, исполнен приказ или не исполнен. Приказ как-то изменял полки, улицы и людей, если даже его и не исполняли.

Когда он услышал слова приказа, он сначала остался стоять на месте, как недослышавший человек. Он тянулся за словами. Потом перестал сомневаться.

Это о нем читали. И, когда двинулась его колонна, он начал сомневаться, жив ли он.

Ощущая руку, лежащую на эфесе, некоторое стеснение от туго стянутых портупейных ремней, тяжесть сегодня утром насаленной косы, он как будто и был жив, но вместе с тем он знал, что здесь что-то неладно, что-то непоправимо испорчено. Он ни разу не подумал, что в приказе ошибка.

Напротив, ему показалось, что он по ошибке, по оплошности жив. По небрежности он чего-то не заметил и не сообщил никому.

Во всяком случае он портил все фигуры развода, стоя столбиком на площади. Он даже не подумал шелохнуться.

Как только кончился развод, командир налетел на поручика. Он был красен. Было настоящим счастьем, что на разводе не было по случаю жаркого времени императора, отдохавшего в Павловском. Командир хотел рывкнуть: на гауптвахту, — но для исхода гнева нужен был более раскатистый звук, и он уже хотел пустить на рр: под арест, — как вдруг рот его замкнулся, словно командир случайно поймал им муху. И так он стоял перед поручиком Синюхаевым минуты две.

Потом, отшатнувшись, как от зачумленного, он пошел своим путем.

Он вспомнил, что поручик Синюхаев, как умерший, отчислен от службы, и сдержался, потому что не знал, как говорить с таким человеком.

6

Павел Петрович ходил по своей комнате и изредка останавливался.

Он прислушивался.

С тех пор, как император в пыльных сапогах и дорожном плаще прогремел шпорами по зале, в которой еще хрипела его мать, и хлопнул дверью, было наблюденно: большой гнев становился великим гневом, великий гнев кончался через дня два страхом и умилением.

Химеры⁶ по лестницам делал в Павловском дикий Бренна⁷, а плафоны и стены дворца делал Камерон⁸, любитель нежных красок, которые мрут на глазах у всех.

С одной стороны — разинутые пасти вздыбленных и человекообразных львов, с другой — изящное чувство.

Кроме того, в дворцовом зале висели два фонаря, подарок незадолго перед тем обезглавленного Людовика XVI⁹. Этот подарок получил он во Франции, когда еще странствовал под именем графа Северного.

Фонари были высокой работы: стенки были таковы, что смягчали свет.

Но Павел Петрович избегал зажигать их.

Также часы, подарок Марии-Антуанетты¹⁰, стояли на яшмовом столе. Часовая стрелка была золотым Сатурном¹¹ с длинной косой, а минутная — амуром со стрелой.

Когда часы били полдень и полночь, Сатурн заслонял косой стрелу амура.

Это значило, что время побеждает любовь.

Как бы то ни было, часы не заводились.

Итак, в саду был Бренна, по стенам Камерон, а над головой в подпотолочной пустоте качался фонарь Людовика XVI.

Во время великого гнева Павел Петрович приобретал даже некоторое наружное сходство с одним из львов Бренны.

Тогда, как с неба при ясной погоде, рушились палки на целые полки, темною ночью при свете факелов рубили кому-то голову на Дону, маршировали пешком в Сибирь случайные солдаты, писаря, поручики, генералы и генерал-губернаторы.

Похитительница престола¹², его мать, была мертва. Потемкинский дух он вышиб, как некогда Иван Четвертый¹³ вышиб боярский. Он разметал потемкинские кости и сровнял его могилу. Он уничтожил самый вкус матери. Вкус похитительницы! Золото, комнаты, выложенные индийским шелком, комнаты, выложенные китайской посудой, с голландскими печами, и комната из синего стекла — табакерка. Балаган. Римские и греческие медали, которыми она хвасталась! Он велел употребить их на позолоту своего замка.

И все же дух остался, привкус остался.

Им пахло кругом, и поэтому, может быть, Павел Петрович имел привычку принюхиваться к собеседникам.

А над головой качался французский висельник, фонарь.

И наступал страх. Императору не хватало воздуха. Он не боялся ни жены, ни старших сыновей, из которых каждый, вспомнив пример веселой бабушки и свекрови, мог его заколоть вилокю и сесть на престол.

Он не боялся подозрительно веселых министров и подозрительно мрачных генералов. Он не боялся никого и той пятидесяти-миллионной черни, которая сидела по кочкам, болотам, пескам

и полям его империи и которую он никак не мог себе представить. Он не боялся их, взятых в отдельности. Вместе же это было море, и он тонул в нем.

И он приказал окопать свой петербургский замок рвами и форпостами и вздернуть на цепи подъемный мост. Но и цепи были неверны — их охраняли часовые.

И когда великий гнев становился великим страхом, начинала работать канцелярия криминальных дел, и кого-то подвешивали за руки, и под кем-то проваливался пол, а внизу его ждали заплечные мастера.

Поэтому, когда из императорской комнаты слышались то маленькие, то растянутые, внезапно спотыкливые шаги, все переглядывались с тоской, и редко кто улыбался. В комнате великий страх.

Император бродит.

7

Поручик Синюхаев стоял на том самом месте, где налетел на него распекателем, и не распек, и так внезапно остановился командир.

Вокруг него никого не было.

Обычно после развода он расправлялся, сбавлял выправку, руки размякали, и он шел в казармы вольно. Каждый член становился вольным: он становился партикулярным.

Дома, в офицерской казарме, поручик расстегивал сюртук и играл на гобое любви. Потом набивал трубку и смотрел в окно. Он видел большой кус вырубленного сада, где теперь была пустыня, называемая Царицыным лугом. На поле не было никакого разнообразия, никакой зелени, но на песке сохранились следы коней и солдат. Куренье нравилось ему всеми статьями: набивкой, придавкой, затыжкой и дымом. С куреньем человек никогда не пропадет. Этого было достаточно, так как вскоре наступал вечер и он уходил к приятелям или просто погулять.

Он любил вежливость простонародья. Однажды мещанин сказал ему, когда он чихнул: «Спица в нос невелика — с перст».

Перед сном он садился играть со своим денщиком в карты. Он выучил денщика в контру и в памфил, и когда денщик проигрывал, поручик хлопал его колодой по носу, а когда он сам проигрывал, то не хлопал денщика. Наконец он осматривал начищенную денщиком амуницию, сам завивал, заплетал и салил косу и ложился спать.

Но теперь он не расправился, мышцы его были надуты, и дыханья было не слышно у поручиковых губ. Он стал рассматривать разводную площадь, и она оказалась незнакомой ему. По крайней мере он никогда не замечал раньше карнизов на окнах красного казенного здания и мутных стекол.

Круглые булыжники мостовой были не похожи один на другой, как разные братья.

В большом порядке, в сером аккурате, лежал солдатский С.-Петербург с пустынями, реками и мутными глазами мостовой, вовсе ему незнакомый город.

Тогда он понял, что умер.

8

Павел Петрович слышал шаги адъютанта, кошкой прокрался к креслам, стоявшим за стеклянную ширмой, и сел так твердо, как будто сидел все время.

Он знал шаги приближенных. Сидя задом к ним, он различал шарканье уверенных, подпрыгиванье льстивых и легкие, воздушные шаги уstraшенных.

Прямых шагов он не слышал.

На этот раз адъютант шел уверенно, он подшаркивал. Павел Петрович полубернул голову.

Адъютант зашел до середины ширм и склонил голову.

— Ваше величество. Караул кричал подпоручик Киже.

— Кто таков?

Страх становился легче, он получал фамилию. Этого вопроса адъютант не ждал и слегка отступил.

— Подпоручик, который назначен в караульную службу, ваше величество.

— Для чего кричал? — император притопнул ногой. — Слушаю, сударь.

Адъютант помолчал.

— По неразумию, — лепетнул он.

— Произвести дознание и, бив плетью, пешком в Сибирь.

9

Так началась жизнь подпоручика Киже.

Когда писарь переписывал приказ, подпоручик Киже был ошибкой, опиской, не более. Ее могли не заметить, и она потонула бы

в море бумаг, а так как приказ был ничем не любопытен, то вряд ли позднейшие историки даже стали бы ее воспроизводить.

Придирчивый глаз Павла Петровича ее извлек и твердым знаком дал ей сомнительную жизнь — описка стала подпоручиком без лица, но с фамилией.

Потом в прерывистых мыслях адъютанта у него наметилось лицо, правда — едва брезжущее, как во сне. Это он крикнул «караул» под дворцовым окном.

Теперь это лицо отвердело и вытянулось: подпоручик Кижже оказался злоумышленником, который был осужден на дыбу или, в лучшем случае, кобылу¹⁴ — и Сибирь.

Это была действительность.

До сих пор он был беспокойством писаря, растерянностью командира и находчивостью адъютанта.

Отныне кобыла, плети и путешествие в Сибирь были его собственным, личным делом.

Приказ должен быть выполнен. Подпоручик Кижже должен был выйти из военной инстанции, перейти в юстицкую инстанцию, а оттуда пойти по зеленой дороге прямо в Сибирь.

И так сделалось.

В том полку, где он числился, командир таким громовым голосом, который бывает только у совсем потерянного человека, выкликнул перед строем имя подпоручика Кижже.

В стороне уже стояла наготове кобыла, и двое гвардейцев захлестнули ее ремнями в головах и по ногам. Двое гвардейцев, с обеих сторон, хлестали семихвостками по гладкому дереву, третий считал, а полк смотрел.

Так как дерево было отполировано уже ранее тысячами животов, то кобыла казалась не вовсе пустою. Хотя на ней никого не было, а все же как будто кто-то и был. Солдаты, нахмурия брови, смотрели на молчаливую кобылу, а командир к концу экзекуции покраснел, и его ноздри раздулись, как всегда.

Потом ремни расхлестнули: и чьи-то плечи как будто освободились на кобыле. Двое гвардейцев подошли к ней и подождали команды.

Они пошли по улице, удаляясь от полка ровным шагом, ружья на плечо, и изредка посматривали косвенным взглядом, не друг на друга, но на место, заключенное между ними.

В строю стоял молодой солдат, его недавно забрили. Он смотрел на экзекуцию с интересом. Он думал, то все происходящее — дело обыкновенное и часто совершается на военной службе.

Но вечером он вдруг заворочался на нарах и тихонько спросил у старого гвардейца, лежащего рядом:

— Дяденька, а кто у нас императором?

— Павел Петрович, дура, — ответил испуганно старик.

— А ты его видел?

— Видел, — буркнул старик, — и ты увидишь.

Они замолчали. Но старый солдат не мог заснуть. Он ворочался. Прошло минут десять.

— А ты почто спрашиваешь? — вдруг спросил старик у молодого.

— А я не знаю, — охотно ответил молодой, — говорят, говорят: император, а кто такой — неизвестно. Может, только говорят...

— Дура, — сказал старик и покосился по сторонам, — молчи, дура деревенская.

Прошло еще минут десять. В казарме было темно и тихо.

— Он есть, — сказал вдруг старик на ухо молодому, — только он подмененный.

10

Поручик Синюхаев внимательно посмотрел на комнату, в которой жил до сего дня.

Комната была просторная, с низкими потолками, с портретом человека средних лет, в очках и при небольшой косичке. Это был отец поручика, лекарь Синюхаев.

Он жил в Гатчине, но поручик, глядя на портрет, не чувствовал особой уверенности в этом. Может быть, живет, а может, и нет.

Потом он посмотрел на вещи, принадлежавшие поручику Синюхаеву: гобой любви в деревянном ларчике, щипцы для завивки, баночку с пудрой, песочницу, и эти вещи посмотрели на него. Он отвел от них взгляд.

Так он стоял посреди комнаты и ждал чего-то. Вряд ли он ждал денщика.

Между тем именно денщик осторожно вошел в комнату и остановился перед поручиком. Он слегка раскрыл рот и, смотря на поручика, стоял.

Вероятно, он всегда так стоял, ожидая приказаний, но поручик посмотрел на него, словно видел его в первый раз, и потупился.

Смерть следовало скрывать временно, как преступление. К вечеру вошел к нему в комнату молодой человек, сел за стол, на котором стоял ларчик с гобоем любви, вынул его из ларчика, подул в него и, не добившись звука, сложил в угол.

Затем, кликнув денщика, сказал подать пенника. Ни разу он не посмотрел на поручика Синюхаева.

Поручик же спросил стесненным голосом:

— Кто таков?

Молодой человек, пьющий пенник, отвечал, зевнув:

— Юнкерской школы при Сенате аудитор, — и приказал денщику постилать постель. Потом он стал раздеваться, и поручик Синюхаев долго смотрел, как ловко аудитор стаскивает штимблеты и сталкивает их со стуком, расстегивается, потом укрывается одеялом и зевает. Потянувшись, наконец, молодой человек вдруг посмотрел на руку поручика Синюхаева и вытащил у него из обшлага полотняный платочек. Прочистив нос, он снова зевнул.

Тогда, наконец, поручик Синюхаев нашелся и вяло сказал, что сие против правил.

Аудитор равнодушно возразил, что напротив, все по правилам, что он действует по части второй, как бывший Синюхаев — «яко же умре», и чтоб поручик снял свой мундир, который кажется аудитору еще довольно приличным, а сам бы надел мундир, негодный для носки.

Поручик Синюхаев стал снимать мундир, а аудитор ему помог, объясняя, что сам бывший Синюхаев может это сделать «не так».

Потом бывший Синюхаев надел мундир, не годный для носки, и постоял, опасаясь, как бы аудитор перчаток не взял. У него были длинные желтые перчатки, с угловатыми пальцами, форменные. Перчатки потерять — к бесчестью, слышал он. В перчатках поручик, каков он ни был, все поручик. Поэтому, натянув перчатки, бывший Синюхаев повернулся и пошел прочь.

Всю ночь он пробродил по улицам С.-Петербурга, даже не пытаюсь зайти никуда. Под утро он устал и сел наземь у какого-то дома. Он продремал несколько минут, затем внезапно вскочил и пошел, не глядя по сторонам.

Вскоре он вышел за черту города. Сонный торшрейбер* у шлагбаума рассеянно записал его фамилию.

Больше он не возвратился в казармы.

11

Адъютант был хитер и не сказал никому о подпоручике Кижже и своей удаче.

* Писарь (нем.).

У него, как и у всякого, были враги. Поэтому он сказал только кой-кому, что человек, кричавший «караул», найден.

Но это произвело странное действие на женской половине дворца.

Ко дворцу с его верхними колоннами, тонкими, как пальцы, ударяющие в клавесин, построенному Камероном, были пристроены с фасада два крыла, округленные, как кошачьи лапы, когда кошка играет с мышонком. В одном крыле девствовала фрейлина Нелидова со штатом.

Часто Павел Петрович, виновато миновав стражу, отправлялся на это крыло, а однажды часовые видели, как император быстро выбежал оттуда, со съехавшим набок париком, и вдогонку над его головой пролетела женская туфля.

Хотя Нелидова была только фрейлиной, у нее самой были фрейлины.

И вот, когда до женского крыла дошло, что кричавший «караул» найден, одна из фрейлин Нелидовой упала в обморок.

Она была, как Нелидова, кудрявой и тонкой, как пастушок.

При бабке Елизавете¹⁵ у фрейлин стучала парча, трещали шелка, и освобожденные соски испуганно появлялись из них. Такова была мода.

Амазонки, любившие мужскую одежду, бархатные морские хвосты и звезды у сосков, отошли вместе с похитительницей престола.

Теперь женщины стали пастушками с кудрявыми головами.

Итак, одна из них рухнула в краткий обморок.

Поднятая с полу своей покровительницей и пробудившись от бесчувствия, она рассказала: у нее в тот час было назначено любовное свидание с офицером.

Она не могла, однако, отлучиться из верхнего этажа и вдруг, посмотрев в окно, увидела, что распаленный офицер, позабыв осторожность, а может быть и не зная о том, стоит у самого окна императора и посылает ей наверх знаки.

Она махнула ему рукой, сделала ужас глазами, но любовник понял это так, будто омерзел ей, и жалобно закричал: «караул».

В тот же миг, не растерявшись, она приплюснула пальцем нос и указала вниз. После этого курносого знака офицер обомлел и скрылся.

Больше она его не видела, а по быстроте любовного случая, который произошел накануне, даже не знала его фамилии.

Теперь его обнаружили и сослали в Сибирь.

Нелидова стала думать.

Ее случай был на ущербе¹⁶, и хоть она себе в этом не хотела сознаться, но ее туфля уже не могла больше летать.

С адъютантом она была холодна, и ей не хотелось обращаться к нему.

Состояние императора было сомнительно. В таких случаях она обращалась теперь к одному партикулярному, но могущественному человеку, Юрию Александровичу Нелединскому-Мелецкому¹⁷.

Она так и сделала и послала к нему камер-лакея с запиской.

Дюжий камер-лакей, передавая уже не впервые эти записки, всегда удивлялся мизерности могущественного человека. Мелецкий был певец и статс-секретарь. Он был певец «Быстрой реченьки» и сладострастен к пастушкам. Вид его был самый маленький, рот сладостен, а брови мохнаты. Но он был к тому же великий хитрец и, глядя вверх на плечистого камер-лакея, сказал:

— Скажи, чтоб не было беспокойства. Пусть ждут. Все сие решится.

Но сам он немного трусил, вовсе не зная, как все это решится, и когда в дверь сунулась к нему одна из его юных пастушек, которую раньше звали Авдотьей, а теперь Селименою, он свирепо повел бровями.

Дворня Юрия Александровича состояла по большей части из юных пастушек.

12

Часовые шли и шли.

От шлагбаума к шлагбауму, от поста к крепости, они шли прямо и с опаскою посматривали на важное пространство, шедшее между ними.

Сопровождать сосланного в Сибирь им приходилось не впервой, но им еще никогда не случалось вести такого преступника. Когда они вышли за черту города, у них было сомнение. Не слышно было звука цепей и не нужно было подгонять прикладами. Но потом они подумали, что дело казенное и бумага при них. Они мало разговаривали, так как это было запрещено.

На первом посту смотритель посмотрел на них, как на сумасшедших, и они смутились. Но старший показал бумагу, в которой было сказано, что арестант секретный и фигуры не имеет, и смотритель захлопотал и отвел им для ночлега особую камеру в три нары. Он избегал разговаривать с ними и так юлил, что часовые невольно почувствовали свое значение.

Ко второму — большому — посту они подошли уже уверенно, с важным молчаливым видом, и старший просто бросил бумагу

на комендантский стол. И этот точно так же заюлил и захлопотал, как первый.

Понемногу они начали понимать, что сопровождают важного преступника.

Они привыкли и значительно говорили между собою: «он» или «оно».

Так они зашли уже в глубь Российской империи, по той же прямой и протоптанной Владимирской дороге.

И пустое пространство, терпеливо шедшее между ними, менялось: то это был ветер, то пыль, то усталая, сбившаяся с ног жара позднего лета.

13

Между тем по той же Владимирской дороге шел за ними вдогонку от заставы к заставе, от крепости к крепости важный приказ.

Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий сказал: ждать, и в этом не ошибся.

Потому что великий страх Павла Петровича медленно, но верно переходил в жалость к самому себе, в умиление.

Император поворачивался спиною к звероподобным садовым кустам и, побродив в пустоте, обращался к изящному чувству Камерона.

Он согнул в бараний рог всех губернаторов и генералов матери, он запрягал их в имения, где они отсиживались. Он должен был так сделать. И что же? Вокруг образовалась большая пустота.

Он вывесил ящик для жалоб и писем перед своим замком, потому что ведь он, а не кто другой, был отцом отечества. Сначала ящик пустовал, — и это его огорчало, потому что отечество должно разговаривать с отцом. Потом в ящике было найдено подметное письмо, в котором его называли: батька курносый, и угрожали.

Он посмотрел тогда в зеркало.

— Курнос, сударики, точно курнос, — прохрипел он и велел ящик снять.

Он предпринял путешествие по этому странному отечеству. Он загнал в Сибирь губернатора, который осмелился положить в своей губернии для его проезда новые мосты. Путешествие было не маменькино: все должно быть так, как есть, а не принаряжено. Но отечество молчало. На Волге собрались было вокруг него мужики. Он послал парня зачерпнуть воды с середины реки, чтобы выпить чистой воды.

Он выпил эту воду и сказал сипло мужикам:

— Вот пью вашу воду. Что глазееете?

И вокруг стало пусто.

Больше в путешествие он не ездил и вместо ящичка поставил на каждом форпосте крепких часовых, но не знал, верны ли они, и не знал, кого нужно опасаться.

Кругом была измена и пустота.

Он нашел секрет, как избыть их, — и ввел точность и совершенное подчинение. Заработали канцелярии. Считалось, что себе он берет власть только исполнительную. Но как-то так случилось, что исполнительная власть путала все канцелярии, и поэтому были: сомнительная измена, пустота и лукавое подчинение. Он казался сам себе случайным пловцом, воздымающим среди ярых волн пустые руки, — некогда он видел такую гравюру.

А между тем он был единственный после долгих лет законный самодержец.

И его тяготило желание опереться на отца, хотя бы мертвого. Он вырыл из могилы убитого вилкою немецкого недоумка¹⁸, который считался его отцом, и поставил гроб рядом с гробом похитительницы престола. Но это было сделано так, более в отместку мертвой матери, при жизни которой он жил как ежеминутно приговоренный к казни.

Да и была ли она его матерью?

Он знал что-то смутное о скандале своего рождения. Он был человек безродный, лишенный даже мертвого отца, даже мертвой матери.

Он никогда обо всем этом не думал и велел бы выстрелить из пушки человеком, который бы его заподозрил в таких мыслях.

Но в такие минуты ему бывали приятны даже малые шалости и китайские домики его Трианона. Он становился самым прямым другом природы и желал всеобщей любви или хотя бы чьей-нибудь.

Это шло припадком, и тогда грубость считалась откровенностью, глупость — прямоотой, хитрость — добротой, и денщик-турок, который ваксил его сапоги, делался графом¹⁹.

Юрий Александрович всегда верхним чутьем чуял перемену.

Он выждал с неделю, а потом почуял.

Тихими, но веселыми шагами он потоптался вокруг стеклянной ширмы и вдруг рассказал императору в покрове простоты все, что знал о подпоручике Кижже, за исключением, разумеется, подробности о курносом знаке.

Тут император захохотал таким лающим, таким собачьим, хриплым и прерывистым смехом, как будто он пугал кого-нибудь.

Юрий Александрович обеспокоился.

Он хотел оказать приятность Нелидовой, у которой был домовым приятелем, и показать мимоходом свое значение — ибо, по немецкой пословице, ходкой тогда, *umsonst ist der Tod* — даром одна смерть. Но такой хохот мог сразу вогнать Юрия Александровича во вторую роль или даже быть орудием его уничтожения.

Может быть, это сарказмы?

Но нет, император изнемог от смеха. Он протянул руку за пером, и Юрий Александрович, привстав на цыпочки, прочел вслед на императорской рукой:

ПОДПОРУЧИКА КИЖЕ, В СИБИРЬ СОСЛАННОГО, ВЕРНУТЬ,
ПРОИЗВЕСТИ В ПОРУЧИКИ И НА ТОЙ ФРЕЙЛИНЕ ЖЕНИТЬ.

Написав это, император прошелся по комнате с вдохновением.

Он ударил в ладоши и запел свою любимую песню и стал присвистывать:

Ельник, мой ельник,
Частый мой березник...

А Юрий Александрович тонким и очень тихим голосом подхватил:

Люшеньки люли.

14

Искусанный пес любит уходить в поле и лечиться там горькими травами.

Поручик Синюхаев шел пешком из С.-Петербурга в Гатчину. Он шел к отцу не для того, чтобы просить помощи, а так, может быть, из желания проверить, существует ли отец в Гатчине или, может быть, не существует. На отцовский привет он ничего не ответил, посмотрел кругом и уже собрался уходить, как стесняющийся и даже жеманничающий человек.

Но лекарь, увидев изъяны в его одежде, усадил его и начал допытываться:

— Ты проигрался или проштрафился?

— Я не живой, — вдруг сказал поручик.

Лекарь пощупал пульс, сказал что-то о пиявках и продолжал допытываться.

Когда он узнал о сыновней оплошности, он взволновался, целый час писал и переписывал прошение, заставил сына его подписать и на завтра пошел к барону Аракчееву²⁰, чтобы вместе с суточным рапортом передать его. Сына он, однако, постеснялся держать у себя дома, а положил его в гошпиталь и написал на доске над его кроватью:

Mors occasionalis
Случайная смерть

15

Барона Аракчеева тревожила идея государства. Поэтому его характер мало поддавался определению, он был неуловим.

Барон не был злопамятен, бывал иногда и снисходителен. При рассказе какой-нибудь печальной истории он слезился, как дитя, и давал садовой девочке, обходя сад, копейку. Потом, заметив, что дорожки в саду нечисто выметены, приказывал бить девочку розгами. По окончании же экзекуции выдавал девочке пятак.

В присутствии императора он чувствовал слабость, похожую на любовь.

Он любил чистоту, она была эмблемою его нрава. Но бывал доволен именно тогда, когда находил изъяны в чистоте и порядке, и, если их не оказывалось, втайне огорчался. Вместо свежего жаркого он ел всегда солонину.

Он был рассеян, как философ. И правда, ученые немцы находили сходство в его глазах с глазами известного тогда в Германии философа Канта: они были жидкого, неопределенного цвета и подернуты прозрачной пеленой. Но барон обиделся, когда ему кто-то сказал об этом сходстве.

Он был не только скуп, но любил и блеснуть и показать все в лучшем виде. Для этого он входил в малейшие хозяйственные подробности. Он сидел над проектами часовен, орденов, образов и обеденного стола. Его прельщали круги, эллипсы и линии, которые, переплетаясь, как ремни в треххвостке, давали постройку, способную обмануть глаз. А он любил обмануть посетителя или обмануть императора и притвориться, что не видит, когда кто ухитрялся и его обмануть. Обмануть же его, конечно, было трудно.

Он имел подробную опись вещам каждого из своих людей, начиная с камердинера и кончая поваренком, и проверял все гошпитальные описи.

При устройстве гошпиталя, в котором служил отец поручика Синюхаева, барон сам показывал, как поставить кровати, куда

скамейки, где должен быть ординаторский столик и даже какого вида должно быть перо, то есть голое, без бородки, в виде римского *salamus* — тростника. За перо, очиненное с бородкою, подлекарю полагалось пять розог.

Идея римского государства тревожила барона Аракчеева.

Поэтому он рассеянно выслушал лекаря Синюхаева, и только когда тот протянул прошение, он внимательно прочел его и сделал выговор лекарю, что бумага подписана нечеткою рукой.

Лекарь извинился тем, что у сына рука дрожит.

— Ага, братец, вот видишь, — ответил барон с удовольствием, — и рука дрожит.

Потом, поглядев на лекаря, он спросил его:

— А когда приключилась смерть?

— Иуня пятнадцатого, — ответил, несколько оторопев, лекарь.

— Иуня пятнадцатого, — протянул барон, соображая, — иуня пятнадцатого... А теперь уже семнадцатое, — сказал он вдруг в упор лекарю. — Где же был мертвец два дня?

Ухмыльнувшись на лекарский вид, он кисло заглянул в прошение и сказал:

— Вот какие неисправности. Теперь прощай, братец, пооди.

16

Певец и статс-секретарь Мелецкий действовал на ура, он рисковал и часто выигрывал, потому что все представлял в нежном виде, под стать краскам Камерона, но выигрыши сменялись проигрышами, как в игре кадрили.

У барона Аракчеева была другая повадка. Он не рисковал, ни за что не ручался. Напротив, в донесениях императору он указывал на злоупотребление — вот оно — и тут же испрашивал разрешения, какими мерами его уничтожить.

Умаление, которым рисковал Мелецкий, барон сам производил над собою. Зато выигрыш вдали мелькал большой, как в игре фаро.

Он сухо донес императору, что умерший поручик Синюхаев явился в Гатчину, где и положен в гошпиталь. Причем сказался живым и подал прошение о восстановлении в списках. Каковое препровождается и испрашивается дальнейшее распоряжение. Он хотел показать покорность этой бумагой, как рачительный приказчик, обо всем спрашивающий хозяина.

Ответ получил скоро, — и на прошение и барону Аракчееву в особенности.

На прошение была наложена резолюция:

Бывшему поручику Синюхаеву, выключенному из списка за смертью, отказать по той же самой причине.

А барону Аракчееву была прислана записка:

Господин барон Ааракчеев.

Удивляюсь, что, будучи в чине генерала, не знаете устава, направляя прямо ко мне прошение умершего поручика Синюхаева, к тому и не вашего полка, которое надлежало сначала направить собственно в канцелярию полка, которого этот поручик, а не меня прямо обременять таковым прошением.

Впрочем, пребываю к вам благосклонный

Павел.

Не было сказано: «навсегда благосклонный».

И Аракчеев прослезился, так как смерть не любил получать выговоры. Он сам пошел в гошпиталь и велел немедля гнать умершего поручика, выдав ему белье, а офицерскую одежду, значащуюся в описи, задержать.

17

Когда поручик Кижже вернулся из Сибири, о нем уже знали многие. Это был тот самый поручик, который крикнул «караул» под окном императора, был наказан и сослан в Сибирь, а потом помилован и сделан поручиком. Таковы были вполне определенные черты его жизни.

Командир уже не чувствовал никакого стеснения с ним и просто назначал то в караул, то на дежурства. Когда полк выступал в лагери для маневров, поручик выступал вместе с ним. Он был исправный офицер, потому что ничего дурного за ним нельзя было заметить.

Фрейлина, краткий обморок которой спас его, сначала обрадовалась, думая, что ее соединяют с внезапным любовником. Она поставила мушку на щеку и затянула несходившуюся шнуровку. Потом в церкви она заметила, что стоит одиноко, а над соседним пустым местом держит венец адъютант. Она хотела уже снова упасть в обморок, но так как держала глаза опущенными ниц и видела свою талию, то раздумала. Некоторая таинственность обряда, при котором жених не присутствовал, многим понравилась.

И через некоторое время у поручика Кижже родился сын, по слухам похожий на него.

Император забыл о нем. У него было много дел.

Быстрая Нелидова была отставлена, и ее место заняла пухлая Гагарина.

Камерон, швейцарские домики и даже все Павловское были забыты. В кирпичном аккурате лежал приземистый и солдатский С.-Петербург. Суворов, которого император не любил, но терпел, потому что тот враждовал с покойным Потемкиным, был потревожен в своем деревенском уединении. Приближалась кампания, так как у императора были планы. Планов этих было много, и нередко один заскакивал за другой. Павел Петрович раздался в ширину и осел. Лицо его стало кирпичного цвета. Суворов опять впал в немилость. Император все реже смеялся.

Перебирая полковые списки, он наткнулся раз на имя поручика Кижже и назначил его капитаном, а в другой раз полковником. Поручик был исправный офицер. Потом император снова забыл о нем.

Жизнь полковника Кижже протекала незаметно, и все с этим примирились.

Дома у него был свой кабинет, в казарме своя комната, и иногда туда заносили донесения и приказы, не слишком удивляясь отсутствию полковника.

Он уже командовал полком.

Лучше всего чувствовала себя в громадной двуспальной кровати фрейлина.

Муж подвигался по службе, спать было удобно, сын подрастал. Иногда супружеское место полковника согревалось каким-либо поручиком, капитаном или же статским лицом. Так, впрочем, бывало во многих полковничьих постелях С.-Петербурга, хозяева которых были в походе.

Однажды, когда утомившийся любовник спал, ей послышался скрип в соседней комнате. Скрип повторился. Без сомнения, это рассыхался пол. Но она мгновенно растолкала заснувшего, вытолкала его и бросила ему в дверь одежду.

Опомнившись, она смеялась над собой.

Но и это случалось во многих полковничьих домах.

18

От мужиков пахло ветром, от баб дымом.

Поручик Синюхаев никому не смотрел прямо в лицо и различал людей по запаху.

По запаху он выбирал место для ночлега, причем норовил спать под деревом, потому что под деревом дождь не так мочит.

Он шел, нигде не задерживаясь.

Он проходил чухонские деревни, как проходил реку плоский камешек, «блинок», пускаемый мальчишкой, — почти не задевая. Изредка чухонка давала ему молока. Он пил стоя и уходил дальше. Ребятишки затихали и блистали белесыми соплями. Деревня смыкалась за ним.

Его походка мало изменилась. От ходьбы она развинтилась, но эта мякинная, развинченная, даже игрушечная походка была все же офицерская, военная походка.

Он не разбирался в направлениях. Но эти направления можно было определить. Уклоняясь, делая зигзаги, подобные молниям на картинах, изображающих всемирный потоп, он давал круги, и круги эти медленно сужались.

Так прошел год, пока круг сомкнулся точкой, и он вступил в С.-Петербург. Вступя, он обошел его кругом из конца в конец.

Потом он начал кружить по городу, и ему случалось неделями делать один и тот же круг.

Шел он быстро, все тою же своей военной, развинченной походкой, при которой ноги и руки казались нарочно подвешенными.

Лавочники его ненавидели.

Когда ему случалось проходить по Гостиному ряду, они покривали вслед:

— Приходи вчера.

— Играй назад.

О нем говорили, что он приносит неудачу, а бабы-калашницы, чтобы откупиться от его глаза, давали ему, молчаливо сговорясь, по калачу.

Мальчишки, которые во все эпохи превосходно улавливают слабые черты, бежали за ним и кричали:

— Подвешенной!

19

В С.-Петербурге часовые у замка Павла Петровича прокричали:

— Император спит.

Этот крик повторили алебардчики на перекрестках:

— Император спит.

И от этого крика, как от ветра, одна за другой закрылись лавки, а пешеходы попрятались в дома. Это означало вечер.

На Исаакиевской площади толпы мужиков в дерюге, согнанные на работу из деревень, потушили костры и улеглись тут же, на земле, покрывшись гуньками²¹.

Стража с алебардами, прокричав: «Император спит», сама заснула. На Петропавловской крепости ходил, как часы, часовой. В одном кабаке на окраине сидел казацкий молодец, опоясанный лыком, и пил царское вино с извозчиком.

— Батьке курносому скоро конец, — говорил извозчик, — я возил важных господ...

Подъемный мост у замка был поднят, и Павел Петрович смотрел в окно.

Он был пока безопасен, на своем острове.

Но были шепоты и взгляды во дворце, которые он понимал, и на улицах встречные люди падали перед его лошастью на колени со странным выражением.

Так было им заведено, но теперь люди падали в грязь не так, как всегда. Они падали слишком стремительно. Конь был высок, и он качался в седле. Он царствовал слишком быстро. Замок был недостаточно защищен, просторен. Нужно было выбрать комнату поменьше. Павел Петрович, однако, не мог этого сделать — кой-кто тотчас бы заметил. «Нужно бы спрятаться в табакерку», — подумал император, нюхая табак. Свечи он не зажег. Не нужно наводить на след. Он стоял в темноте, в одном белье. У окна он вел счет людям. Делал перестановки, вычеркивал из памяти Беннигсена, вносил Олсуфьева²². Список не сходился.

— Тут моего счета нету...

— Аракчеев глуп, — сказал он негромко.

— ...*vague incertitude**, которою сей угодствует... У подъемного моста еле был виден часовой.

— Надобно, — сказал по привычке Павел Петрович. Он барабанил пальцами по табакерке.

— Надобно, — он припоминал и барабанил, и вдруг перестал. Все, что надобно, уже давно сделалось, и это оказалось недостаточным.

— Надобно заключить Александра Павловича, — он поторопился и махнул рукой.

— Надобно... Что надобно?

Он лег и быстро, как все делал, юркнул под одеяло. Он заснул крепким сном.

* Пустая нерешительность (*фр.*).

В семь часов утра он вдруг, толчком, проснулся и вспомнил: надобно приблизить человека простого и скромного, который был бы всецело обязан ему, а всех прочих сменить.

И заснул опять.

20

Наутро Павел Петрович просматривал приказы. Полковник Кижже был внезапно произведен в генералы. Это был полковник, который не клянчил имений, не лез в люди за дяденькиной спиной, не хвастун, не щелкун. Он нес службу без ропота и шума.

Павел Петрович потребовал его формулярные списки. Он остановился над бумагой, из которой явствовало, что полковник подпоручиком был сослан в Сибирь за крик под императорским окном: «Караул». Он кое-что в тумане вспомнил и улыбнулся. Там была какая-то легкая любовная история.

Как кстати был бы теперь человек, который в нужное время крикнул бы «Караул» под окном. Он пожаловал генералу Кижже усадьбу и тысячу душ.

Вечером того же дня имя генерала Кижже всплыло на поверхность. О нем говорили.

Некто слышал, как государь сказал графу Палену с улыбкой, которой давно не видали:

— Дивизией погоди его обременять. Он потребен на важнейшее.

Никто, кроме Беннигсена, не хотел сознаться, что ничего не знает о генерале. Пален щурился²³.

Обер-камергер Александр Львович Нарышкин вспомнил генерала:

— Ну да, полковник Кижже... Я помню. Он махался с Сандуновой...

— На маневрах под Красным...

— Помнится, родственник Олсуфьеву, Федору Яковлевичу...

— Он не родственник Олсуфьеву, граф. Полковник Кижже из Франции. Его отец был обезглавлен чернью в Тулоне.

21

События шли быстро. Генерал Кижже был вызван к императору. В тот же день императору донесли, что генерал опасно заболел.

Он крикнул с досадой и отвертел пуговицу у Палена, принесшего весть. Он прохрипел:

— Положить в гошпиталь, вылечить. И если, сударь, не вылечат...

Императорский камер-лакей ездил в гошпиталь дважды в день справляться о здоровье.

В большой палате, за наглухо закрытыми дверьми, суетились лекаря, дрожа, как больные.

К вечеру третьего дня генерал Кижe скончался.

Павел Петрович уже не сердился. Он посмотрел на всех туманным взглядом и удалился к себе.

22

Похороны генерала Кижe долго не забывались С.-Петербургом, и некоторые мемуаристы сохранили их подробности.

Полк шел со свернутыми знаменами. Тридцать придворных карет, пустых и наполненных, покачивались сзади. Так хотел император. На подушках несли ордена.

За черным тяжелым гробом шла жена, ведя за руку ребенка.

И она плакала.

Когда процессия проходила мимо замка Павла Петровича, он медленно, сам-друг, выехал на мост ее смотреть и поднял обнаженную шпагу.

— У меня умирают лучшие люди.

Потом, пропустив мимо себя придворные кареты, он сказал по латыни, глядя им вслед:

— *Sic transit gloria mundi**.

23

Так был похоронен генерал Кижe, выполнив все, что можно было в жизни, и наполненный всем этим: молодостью и любовным приключением, наказанием и ссылкой, годами службы, семьей, внезапной милостью императора и завистью придворных.

Имя его значится в «С.-Петербургском Некрополе», и некоторые историки вскользь упоминают о нем.

В «Петербургском Некрополе» не встречается имени умершего поручика Синюхаева.

Он исчез без остатка, рассыпался в прах, в мякину, словно никогда не существовал.

А Павел Петрович умер в марте того же года, что и генерал Кижe, — по официальным известиям, от апоплексии²⁴.



* Так проходит слава мира (*лат.*).